

## Как это было

Е. Г. ЖУКОВСКАЯ

Привезли нас в Котлас. Построили и повели по ночному городу под конвоем и с собаками. Вели несколько километров до Котласской пересылки. Там не было ни тюрьмы, ни бараков, только огражденная зона: палатки военного образца с наскоро сколоченными нарами. Местами брезент был продран, и через дыры проникал холодный мартовский воздух. В центре палатки — железная печка типа «буржуйки». Дневальная подбрасывает в печку брикеты, старается ее раскалить до красного каления. Запах горелого хлеба.

Кормили куда хуже, чем в Бутырках: горячая пища раз в день, хлеб мокрый, кислый — с голоду не умрешь, но жить можно едва-едва. Днем нас выводили на работу. Нас, несколько молодых женщин, отправили мыть барак, единственный на Котласской пересылке, предназначенный для «отрицаловки». Там белили потолок и стены — пол и трехэтажные нары были залиты известкой.

Тех, кто покрепче, заставили мыть самые верхние нары, третий этаж. И вот мы, голодные, замерзшие, месяцами валявшиеся по тюремным койкам и нарам, физически предельно ослабленные, должны были со двора таскать из котла ведра с горячей водой и с ними лезть под потолок. Все скользкое, мокрое. Я сорвалась, полетела вниз и грудью ударилась о нары. Сильно ушиблась, что в дальнейшем, конечно, не прошло без последствий.

Через несколько дней нас взяли на этап. Направили в Севжелдорлаг на строительство железной дороги Котлас — Воркута. Там, на земляных работах, без' всякой механизации, гибли и молодые мужчины. Нас же, восьмерых женщин, не знавших физического труда, гнали туда на верную погибель. Я еще была в этой группе самая тренированная — отец заботился, чтобы с детства приучить меня к спорту, закалить. И как мне все это пригодилось в те страшные годы...

Нас выгрузили на сорок седьмом километре от Котласа, где в Вычегду втекает Виледь и где расположен поселок Коряжма. Заключение строили железнодорожный мост через Виледь и прокладывали пути. В лагерном пункте, который стыдливо назывался «командировка», было главным образом мужское население. Мужчин содержали в бараках, а нас вместе с уголовницами, урками — в какой-то хибарке с двойными нарами. Урки были заняты в зоне на хлеборезке, на кухне, в прачечной, конторе. Они еще промышляли проституцией, обслуживая ВОХР. Когда мы укладывались на ночь на нары, они делились между собой впечатлениями об этом промысле, не стесняясь в выражениях. Мы сидели на полуголодном пайке, а они жили в достатке. Однажды одна такая «барышня» поздно вернулась с промысла и принесла два десятка яиц, разбудила двух своих подруг, они поставили на печку, которую дневальная топила и ночью, таз и приготовили из двадцати яиц яичницу, которую втроем и съели.

А куда годились мы? Среди нас была молодая прелестная женщина Циля Дагина, жена расстрелянного генерала Дагина, одного из начальников охраны Кремля. Была с нами жена адмирала из Ленинграда (фамилии ее уже не помню), в бане мы видели ее исполосованную рубцами спину — память от следствия. Остальные тоже были женами партийных и хозяйственных руководителей.

Нам выдали из каптерки ватные штаны, телогрейки и бушлаты, ватные же бахилы и к ним галоши из старых шин.

Мы занимались ошкурровкой шпал: на лесоповале бревна распиливали на куски по длине шпалы, нам нужно было сдирать с них кору. Тяжелые бревна с трудом громоздили

на козлы, мы садились на концы бревна верхом и ножами с двумя ручками по бокам сдирали кору, двигая нож на себя. Если бы не безотказный и горячо нам сочувствующий молодой смуглый бригадир по прозвищу Али-Баба, мы ни за что не справились бы с этой каторжной работой.

В лесу лесорубы зажигали костры; март в Архангельской области очень холодный, без костров и сутки не выдержишь. Рабочий день длился до темноты. Один раз за смену привозили горячую баланду, а хлеб мы держали за пазухой, чтобы не замерз. Работали без выходных. В лес и обратно в зону нас гнали под конвоем.

Лагерных пунктов по всему северу было столько, что из-за одних вышек были видны силуэты других. В какую сторону ни глянешь, всюду вышки. В эти гиблые места на каторжные работы, на смерть везли эшелоны рабов со всей громадной страны.

От непосильного труда, холода и недоедания первой в нашей бригаде погибла Циля Дагина. Она заболела воспалением легких, ее забрали в тюремную больницу, там она и умерла. Еще одна из наших лежала на нарах с регулярными приступами малярии. Лагерному начальству, видимо, стало ясно, что проку от нас в лесу немного.

И вот однажды нас, теперь уже шестерых, построили. Явилось начальство с нашими формулярами, стали выяснять, какие должности мы занимали на воле. Мы были перепуганы ужасно, подозревая, что они выбирают нас вовсе не на работу. Называли по очереди фамилии, и каждая должна была назвать свою специальность: медицинская сестра, машинистка. Дошла очередь и до меня. Кому здесь потребуется научный работник? И тут неожиданно один из мужчин среди начальников заявил, что берет меня к себе. Ужас охватил меня. Но что делать? И я пошла за «хозяином». Как только мы остались одни, «хозяин» внимательно посмотрел на меня и сказал: «Лена, не пугайтесь. Вы меня, наверное, просто не узнали. Я такой же заключенный, как и вы, только с пятнадцатилетним сроком. В вашей студенческой компании был ваш сокурсник Аркадий Якубович, я его старший брат Павел. Вы бывали у нас дома, и я узнал вас сразу, как только увидел». Павел побывал на общих работах (так в наших лагерях именуется каторжные работы) и, став немощным доходягой, попал в нарядчики. Живет он в конторе, там есть кабинка, где могу разместиться я, его новая помощница. В общем, в этой страшной лотерее я вытащила выигрышный билет — верно говорится, что и в несчастье можно быть счастливой. Павел был предельно добр и внимателен ко мне. Опытный лагерник, он был хорошо знаком с приличными людьми из числа вольных — были здесь инженеры-мостовики, строители железных дорог. Его подкармливали, а он кое-что приносил и мне. У нас были газеты, мы знали, что творится в Москве и в мире. Разрешалось писать домой один раз в месяц, а через друзей Павла можно было иной раз переслать письмо, минуя лагерную цензуру. В этом аду, где люди были обречены на гибель, я оказалась в безопасности. Надолго ли?

Когда отец получил мое первое письмо из Севжелдорлага и представил себе, что будет со мной, если я останусь на строительстве железной дороги, он решил, что, казалось бы, безнадежное дело — любыми средствами извлечь меня оттуда и добиться перевода на работу по специальности, в какую-нибудь «шарашку», где нужны химики, инженеры, научные работники.

Кому он адресовал свое послание, я, так и не узнала. Написав его, он стал собирать подписи знатных людей. Первым подписал Александр Серафимович. (Отец в то время был редактором собрания его сочинений и был с ним в дружеских отношениях.) Затем он обратился к академику А. Н. Баху, директору института им. Л. Я. Карпова, к академику А. Н. Фрумкину и моему непосредственному руководителю М. М. Дубинину, генералу, профессору Академии химической защиты.

В то время нужна была большая смелость, чтобы возбуждать такие ходатайства. Тем не менее, оно было, подписано и отослано. Отец написал мне о своих хлопотах. Но я не сомневалась, что это ни к чему не приведет.

Как всегда внезапно, вызывают меня с вещами на этап. Я в страшной тревоге. Здесь, в Коряжме, я как-то существую под защитой Павла Якубовича. Но есть и проблеск надежды, что этап имеет какую-то связь с ходатайством отца: отправляли по спецнаряду двоих — меня и инженера-химика Финкельштейна. И вот я вместе с доходягой Финкельштейном и конвоиром, молодым сибиряком Андреем, отправилась куда-то на север. На дорогу нам выдали сухой паек: хлеб, соленую рыбу, сахар из расчета тюремной нормы. Дело было летом, путь был долг и труден. По пути были лагерные пункты, где нам давали горячую пищу, и, как везде на севере, в обязательном порядке кружку хвойного настоя от цинги. Чаще всего шли пешком, но бывало, удавалось сесть на попутный грузовик или телегу. Как-то взяли нас на пароход и поместили в трюм, в котором везли куда-то заключенных «мамок» с младенцами. У Андрея была подробная путевая карта. Ночевали мы то в лагере, то в лесу. Я с трудом волокла свой узел с вещами. Очень страдали от гнуса, были искусаны и покрыты расчесами. Жгли костры, спасаясь дымом, были у нас и накомарники. Без них мы бы не дошли. В лесу еще не было ни ягод, ни грибов. Воду кипятили в котелке. Финкельштейн не выдержал мучительной дороги и заболел — не мог идти дальше. Пришлось Андрею сдать его на ближайшем лагпункте. Отправились дальше вдвоем. Андрей, славный крестьянский паренек, относился ко мне уважительно. Одна слабость была у него: любил выпить. Как на пути замаячит где-то поселок, мой Андрей отправлялся в обитаемое место в надежде пожить. Меня оставлял в лесу, чаще всего на берегу речушки или ручья, клал возле меня свою винтовку, мой формуляр в ящичке, шинель, фуражку и, оставаясь в рубашке, штанах и сапогах, как частное лицо шел на поиски спиртного. Я ему говорила: «Андрей, а ведь я от тебя сбегу!». «Никуда не денешься, ты не из тех, какие бегают, да и бежать тут некуда — всюду тайга дремучая и болота», — отвечал он мне.

Этап продолжался около двух месяцев. Измученные и искусанные, добрались мы до Ухты, и там я распрощалась с Андреем — он сдал меня вместе с документами. Ухта тогда еще была не городом, а центром Ухт-Ижемлага, с несколькими лагерными пунктами, расположенными вблизи промыслов, нефтеперерабатывающим и кирпичным заводами, проектным отделом и двумя лагерными больницами: «Ветлосян» — только для заключенных и «Сангородок» — для заключенных, для вольных и детских учреждений. К 40-му году это было уже достаточно обжитое место — заключенные жили не в палатках, а в бараках. Командовал здесь генерал Бурдаков — свирепый сатрап. Политические и урки содержались вместе. Режим в лагере был жестокий. А район богатейший: огромные залежи тяжелой парафинистой нефти, которая почти не содержала легких погонцов, плюс газовые месторождения. Был там и радий в водах, велась его добыча, а с опасностью облучения никто не считался. Огромная масса бесплатной рабочей силы, в том числе и высококвалифицированной, работала в этих гиблых местах за пайку хлеба и баланду. Тяжелые, долгие зимы с морозами до минус пятидесяти пяти. Страшные авитаминозы. Жестокая борьба за выживание, деградация, высокая смертность.

Первое место, куда меня направили вместе с другим химиком, Фирой Пиковской, была примитивная лаборатория кирпичного завода. На ОЛП (отдельном лагерном пункте) «Кирпичный» содержались заключенные с большими сроками, и до нас там вовсе не было женщин. Не было, естественно, и женского барака. В углу одного из мужских барачков нам выделили фанерную кабинку без окна. Туда втиснули две железные койки — для меня и Фиры. Не описать, как нам было страшно: хилая дверца из фанеры закрывалась на проволочный самодельный крючок, сорвать который ничего не стоило, а за фанерой — больше сотни мужчин. Храп, сквернословие, порой драки, — все это рядом с нами. Положение казалось безнадежным, но вскоре выяснилось, что нас взяли под защиту и неусыпную охрану трое мужчин: ведавший нашей лабораторией инженер Палкин, Миша Ленгефер, который знал моего мужа по работе в Берлине, и замечательный украинский писатель-юморист Остап Вишня, он же Павел Михайлович Губенко.

Павел Михайлович, ровесник моего отца, отбывал двадцатилетний срок, который получил как украинский националист, он проходил по знаменитому процессу Скрыпника еще в 33-м году. Он был многоопытный «зека». В первую мировую войну он, человек мирный, не желавший никого убивать, поступил (как и мой отец в то время) на ускоренные фельдшерские курсы. Но на фронт Павел Михайлович не попал. Теперь же, попав в лагерь, он быстро понял, что юмористы здесь не нужны, и назвался фельдшером. Его медицинское образование двадцатилетней давности было, мягко говоря, неглубоким. Да и никакими лекарствами, кроме иода и марганцовки, он не располагал. Вата еще была, но упаковочная — грубая, серая. В общем, когда случалось что-то серьезное — высокая температура, скажем, или кровавый понос — Павел Михайлович не рисковал и отправлял больного в лагерную больницу на Ветлосян. Главная же задача состояла в том, чтобы утешать людей, давать освобождение от тяжелых работ в мерзлом глиняном забое. Он был необыкновенно добр и к тому же наделен блестящим остроумием.

Никогда не забуду, как однажды Павел Михайлович принес нам в алюминиевой миске спелые красные помидоры.

— Разве тут растут помидоры? — изумилась я.

— Для вас тут все растет, — тихо ответил Павел Михайлович.

Вскоре я очутилась в больнице на Ветлосяне. Как-то раз я заметила на сорочке на груди пятна крови. Я решила, что это последствия ушиба, который я получила в Котласе, сорвавшись с верхних нар. Павел Михайлович предложил отправить меня на Ветлосян к медицинским светилам — там действительно были профессора и врачи со всего Советского Союза.

Оформлен наряд, вызван конвой, я — в больнице. Персонал сверху донизу из заключенных. Уход за больными, внимание, квалификация персонала, все это на высоте, которой могли бы позавидовать наши нынешние московские больницы. Конечно, не было необходимого оборудования, медикаментов, ужасное питание, но зато сколько внимания и заботы о каждом.

Собрали консилиум во главе с профессором Вильгельмом Владимировичем Виттенбергом. Профессор решительно восстал против операции, которую предлагали хирурги, и забрал меня в свое отделение. Он отнесся ко мне по-отечески тепло, решил поддержать какое-то время, чтобы я отдохнула от лагерной обстановки, и поместил меня рядом с женой известного в партии деятеля Адольфа Абрамовича Иоффе, близкого в свое время к Ленину, дипломата, представлявшего нашу страну в Германии, Китае, Австрии, затем в 25-м году возглавившего «новую оппозицию».

С Марией Михайловной Иоффе было о чем поговорить. В лагере на нее состряпали гнусный донос, чтобы упечь в воркутинский лагерь строгого режима. Врачи взялись за ее спасение. Доктор Каминский поставил диагноз «костный туберкулез» и объявил Марию Михайловну лежачей больной, спасая ее с риском для собственной жизни от этапа.

Когда я поступила в ветлосянскую больницу, приемщиком в каптерке работал седой, опустившийся старик. Увидев на документах мою фамилию, он поднял на меня глаза и, узнав меня, заплакал. Я же его не узнала. А это был Александр Иванович Тодорский — крупный военачальник, генерал-лейтенант, бывший начальником Военно-воздушной академии. В сороковом году ему было всего 46 лет. С моим мужем они были знакомы еще с гражданской войны, встречались и в тридцатые годы. Замечу, что Александр Иванович выжил, и после освобождения и реабилитации в 55-м году мы снова встретились в Москве, да еще получили квартиры в одном доме на Второй Хорошевской улице.

Высококвалифицированные врачи Ветлосяна периодически созывали медицинские конференции. Люди науки, они и в заключении старались делиться интересными наблюдениями за течением болезней в специфических лагерных условиях. Физиология человека в экстремальных условиях тюрем и лагерей отличается от физиологии в обычной жизни. И медицина требовалась для этих условий особая.

Однажды во время моего пребывания на Ветлосяне состоялась конференция, посвященная совершенно особому случаю. На одном из ОЛП работал в медпункте молодой врач-заключенный Берман. Во время приема один урка потребовал освобождения от работы. У врачей была жесткая норма на освобождения. Доктор отказался выполнить требование абсолютно здорового уголовника. Через несколько минут урка ворвался в медпункт с топором и раскроил врачу череп. В аптечке оказалась банка с белым стрептоцидом. Фельдшер схватил и все содержимое, около десяти граммов порошка, высыпал в открытую рану. Доктора Бермана привезли на Ветлосян, и врачи занялись его спасением. Он выжил, но остался частично парализованным, потерял речь. Но врачи не теряли надежды и продолжали упорно лечить несчастного. Методам его лечения посвятили очередную конференцию. Обсуждался и этический вопрос: правильно ли спасать жизнь зеку, если он останется беспомощным калекой.

Зимой сорок первого прибыл этап из Польши.

Часть поляков поместили в нашем небольшом ОЛП. Работа — копать мерзлую глину в карьере — оказалась для них непосильной.

Измученные, голодные, не приспособленные к физическому труду, они гибли. Народ среди них был самый разный. Особенно жалким и несчастным казался мне раввин из маленького польского городка. Он умер на руках Павла Михайловича. Незадолго до смерти он подозвал меня и отдал мне лежавший рядом с ним на нарах талес — ритуальный шарф, в котором евреи молятся. Я хранила его как память о безвинной жертве, но в очередной обыск вохровцы у меня его стащили. Для того и обыски в лагере...

Привезли к нам с финского фронта несколько мальчиков — ленинградских студентов. Это тоже была малая часть большого этапа. Одни попали на войну по мобилизации, другие добровольцами. Зима выдалась лютая. Плохо экипированные и плохо подготовленные, они обмороженными попадали в окружение, а затем в плен. Их обменяли на финских пленных. Сразу после обмена ребят, вместо того, чтобы отправить в больницы, прямым сообщением погнали в лагерь. До лагерей добрались из них лишь немногие — легко обмороженные, остальные же в мучениях погибли от гангрены. Павел Михайлович как мог, как умел облегчал страдания всех этих людей.

Вечерами мы выходили с Павлом Михайловичем из барака, чтобы вдохнуть свежего воздуха, посмотреть на звездное небо, полюбоваться сполохами северного сияния. Как-то, шагая рядом со мной, Павел Михайлович сказал: «Вы знаете, здесь для меня есть свое счастье. На воле, в Киеве я был редактором журнала «Перец» и должен был восхвалять мудрого вождя всех народов и превозносить существующие порядки, печатать глупые и пошлые, но угодные власти имущим карикатуры. Теперь я свободен хотя бы от этого. Больше никогда восхвалять уже не буду».

Он ошибся. Восхвалять ему еще пришлось.

Я начала получать письма от папы. Он ободрял меня, верил (или пытался меня утешить), что дела матерей будут пересмотрены, и женщины вернутся домой к своим детям, писал, что по его сведениям, Сеня осужден на десять лет без права переписки и поэтому, узнать, где он, никак нельзя. Одно письмо кончалось так: «Как тигрица, борись за свою жизнь».

Весной 41-го года меня забрали с «Кирпичного» и перевели на 1-й ОЛП в женский барак. На работу была назначена в контрольную лабораторию нефтеперегонного завода. Это уже совсем другой уровень, чем на кирпичном. Впрочем, работа оказалась малоинтересной: рутинные анализы нефтепродуктов. Но она считалась вредной, и нам — зекам и вольнонаемным специалистам и рабочим — даже выдавали ежедневно пол-литра молока.

Завод находился в нескольких километрах от ОЛП. Заключенных туда отправляли под конвоем. За работу нам, итээровцам, положено было получать одну пачку махорки в месяц и почему-то 37 копеек деньгами. Нам говорили, что столько остается от расходов на

наше содержание. А махорка в лагере была валютой — в обмен на нее иной раз можно было получить что-нибудь очень нужное.

Перевод был совершенно внезапным, и я даже не смогла попрощаться с товарищами, которые так много сделали для меня,— с Павлом Михайловичем и Мишей Ленгефером.

И вот подошел июнь сорок первого, разразилась война. Для нас это прежде всего обернулось ужесточением режима, прекращением переписки с волей. Никакой официальной информации, только страшные слухи и домыслы. Я не в силах передать тот ужас, который владел нами, когда вольные на заводе рассказывали, как отступает наша армия под натиском немцев. В первые ночи после начала войны с нар стаскивали женщин, осужденных ОСО с формулировкой КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность) и уводили. Куда?

Так мы жили до тех пор, когда наши войска начали наступать. Летом 43-го года вновь разрешили писать письма, получать письма и посылки. В лагере свирепствовала дистрофия, высокая смертность стала еще выше. Мы испытывали непроходящее чувство голода. Мерзли в бараках зимой, на ночь валили на себя бушлаты и телогрейки, боялись пошевелиться. Спали в шапках, и нередко бывало, что они примерзали к покрытой инеем стенке. А шапками нам служили буденовки, списанные в утиль, вылинявшие, со следами сорванных пятиконечных звезд. Надо было видеть нас — не похожих не только на женщин, но и вообще ни на кого не похожих.

Я была счастлива, когда после двухлетнего перерыва получила первое письмо с воли папы и узнала, что все мои живы, вернулись после всех мытарств эвакуации в свой дом. Дети с осени пошли в школу. Едва возобновилась переписка, как Миша Ленгефер вдруг получил письмо от Павла Михайловича из Киева и ухитрился переправить мне его на НПЗ. Какое чудо произошло с нашим Остапом? Почему письмо из Киева, как он оказался на воле со своим двадцатилетним сроком? Случилось же вот что.

Когда начались переговоры об открытии второго фронта, на западе раздались голоса протеста против сталинских репрессий. В одной из центральных газет Канады было опубликовано гневное письмо украинских эмигрантов: ни в какие отношения с Россией не вступать, ни одному слову Кремля не верить. В качестве одного из аргументов авторы привели рассказ о злодействе, учиненном над Остапом Вишней — любимцем украинского народа.

Наши власти без промедления извлекли Остапа Вишню из лагеря — он как раз лежал в то время с тяжелым приступом язвы двенадцатиперстной кишки — и срочно отправили в Киев. Постарались в экстренном порядке привести его в приличный вид и усадили в редакторское кресло журнала «Перец». Сфотографировали его крупным планом и фотографию поместили в очередном номере журнала вместе с фельетоном самого Остапа под заголовком «Как большевики мучают Вишню».

В фельетоне Павел Михайлович отрицал все, что сочинили о нем «антисоветские клеветники» и утверждал, что, если и был в лагере, то только в пионерском, в гостях у украинских ребятишек. Впрочем, вся эта белиберда написана была блестяще, с истинным юмором Остапа Вишни.

Спасибо посрамленным «клеветникам» за чудесное спасение очень хорошего человека.

В Ухте шло строительство. Заключенные возводили будущий город. Потом, уже в Москве, на продленном киносеансе я видела фильм, который был так тщательно и так «добросовестно» снят, что просто нельзя было усомниться в его правдивости. Назывался он «Как комсомольцы строили Ухту». Вот уж действительно «туфта».

На самом деле было так.

Один из прорабов строительства Коля Вершинин учился на строительном факультете МВТУ, когда я была студенткой химфака. Мы были знакомы. Красивый юноша, заядлый танцор. Наши девушки с удовольствием танцевали с ним на студенческих вечерах.

И вот я увидела его на 1-м ОЛП. Его едва можно было узнать. Погасшие глаза, высохшие руки, безжизненно повисшие вдоль тела. Во время допросов его пытали на дыбе, заставляя сознаться в несовершеннолетних им преступлениях. Он показал, что с группой таких же преступников взорвал мост на какой-то реке. Конечно же, не было никакой реки, никакого моста. За диверсию Вершинин получил 15 лет. Его сыновья-близнецы из десятого класса ушли добровольцами на фронт и оба погибли. Дети отдали жизнь за родину, а отец — седой, с выкрученными на дыбе руками — отбывает срок как диверсант.

Были в лагере «отказчики» на религиозной почве. Они твердо держались своих принципов, отказывались работать в церковные праздники, соблюдали посты. Это были, настоящие мученики веры, многие из них умирали от истощения. Их не брали в больницу, и они валялись в бараках на нарах. Заключение сочувствовали им, старались одержать. Но чем могли помочь они, сами голодные, истощенные? Умерших голыми складывали на телегу, вывозили в тайгу и там сбрасывали, даже не закапывая.

По северным лагерям было рассеяно много актеров. В нашем бараке жили две балерины. Одна из них, Нора Радунская, красивая молодая женщина, получила срок по бытовой статье. По доносу ее обвинили в том, что она якобы купила что-то у иностранной актрисы, приехавшей на гастроли в Москву, да еще заходила к ней в гостиницу.

Вина другой балерины, совсем девочки, Наташи Пушиной состояла в том, что она была дочерью сотрудника КВЖД в Харбине. Как правило, вернувшихся из Харбина в СССР брали целыми семьями. Наташа получила по ОСО 8 лет (ПШ — подозрение в шпионаже). Срок отбывала и певица Сара Кравец, довольно популярная в Москве в предвоенные годы. На нее донесли, что за столом в гостях она пообещала вырвать легкие у Берии.

Были здесь и другие деятели культуры, в том числе и очень известные: актер Михаил Названов, музыкант Борис Крейн.

Актеры, певцы, музыканты жили в лагере немногим лучше остальных, хотя и имели некоторые привилегии. Но какие прекрасные концерты и спектакли они устраивали! Жизнь продолжалась даже на ОЛП.

Жизнь продолжалась, люди встречались, находили друг друга, любили друг друга. Однако любовные связи жесточайшим образом пресекались. Когда такое обнаруживалось, либо его, либо ее отсылали в этап, часто на штрафной лагпункт. Но никакие карательные меры людей не могли остановить.

Чтобы избежать этапа, женщины нередко впрыскивали себе под кожу (ртом через соломинку) керосин. Удобнее всего впрыскивать в грудь или в ногу выше колена. Как правило, это приводило к флегмоне, поднималась температура, и удавалось избежать очередного этапа. Но бывало, что от флегмон и последующего заражения крови и погибали.

Тяжелей всего заключенные переносили долгие северные зимы. Истощенные, переутомленные, ослабленные люди страдали еще и от светового голодания. Особенно возрастала смертность в лагере ближе к весне. Это время называли там «ассенизационным», оно уносило всех слабосильных, неспособных к лагерному труду. Лагерное начальство и не помышляло об их спасении: от балласта выгоднее избавиться.

И вот в одну из таких зим, в первую зиму войны, со мной в столовой, когда я сидела над миской горячей баланды, случился глубокий обморок. Меня отнесли в медпункт, где врач, как потом мне рассказывали, тщетно пытался привести меня в чувство какими-то уколами. В обморочном состоянии я очутилась на Ветлосяне. Тамошние врачи констатировали летаргический сон, только через двое с половиной суток ко мне вернулось сознание.

Однажды произошло событие, которое вызвало интерес всех обитателей ОЛП. Специальным этапом к нам был доставлен красивый грузин средних лет, одетый в зеленую шелковую телогрейку. Видно было, что он на особом положении — его поместили не в барак, а в отдельную кабинку при мужском бараке. Все были заинтригованы, пошли разные слухи.

Оказалось, что это родной брат первой жены Сталина Александр Сванидзе (партийная кличка Алеша) — крупный государственный деятель, член партии с 1903 года, представитель СССР в Лиге Наций, ученый-ориенталист. Должно быть, лагерные власти немного побаивались одного из членов семьи Сталина: вдруг курс изменится — тогда и спросят, как осмелились смешать такого человека с серой массой заключенных. Так что на общие работы Сванидзе не посылали. Он назвался финансистом (очевидно, имея в виду свою работу в Госбанке СССР), а раз финансист — то в финчасть ОЛП, работа в зоне. Но тут возникло непреодолимое препятствие: оказалось, что этот финансист государственного масштаба не умеет считать не только на арифмометре, но даже и на счетах. Тогда его сделали помощником каптера. Такую большую должность исполнял профессор Сванидзе в Ухт-Ижемлаге.

Единственный человек, с которым он общался на ОЛП, была я. Когда он узнал, что в женском бараке находится жена Семена Борисовича Жуковского, он пришел познакомиться со мной, чем поразил обитателей барака. Он рассказал мне, когда и где встречался с моим мужем, не стал скрывать, что его уже нет в живых, ибо формула «10 лет без права переписки» могла означать только одно. Дружба с Алешей Сванидзе немало подняла меня в глазах начальства и моих соседок по бараку.

Потом я встретила с ним уже в больнице на Ветлосяне. Летом 42-го года разразилась эпидемия дизентерии. Заболела и я, в тяжелом состоянии попала в инфекционное отделение. Шансы на выздоровление были невелики: из отделения без конца выносили накрытых рогожей умерших.

Когда, наконец, я, едва живая, встала на ноги и узнала, что здесь был на излечении Алеша Сванидзе и оставлен на Ветлосяне на работе, я очень удивилась. Что он может делать в больнице? Оказалось, что он работает сторожем зоны пеллагриков. Я отправилась повидать его.

Как я была удивлена, когда, зайдя в сторожку, увидела там, кроме Алеши Сванидзе, еще одного хорошего знакомого — профессора Винавера, вместе с которым в Севжелдорлаге мы в женской бригаде ошкуривали железнодорожные шпалы. Он был вторым сторожем, сменщиком. Два этих замечательных человека так подошли друг другу, что, увлекшись беседой, порой забывали сдавать дежурство и проводили много часов вместе. Мне тоже хотелось подольше побыть с ними в сторожке и послушать их.

Дальнейшая судьба Винавера мне неизвестна, а Алешу Сванидзе в том же 42-м году с Ветлосяна забрали. Его судьба стала известна после XXII съезда партии. Н. С. Хрущев поведал, что шурин Сталина, старый грузинский большевик Алеша Сванидзе расстрелян в 1942 году как фашистский шпион. Ему посулили, что высокий родственник помилует его, если он, Алеша, попросит об этом. Когда Сванидзе передали слова Сталина, он спросил: «О чем мне его просить? Ведь я никакого преступления не совершал». А Сталин якобы сказал потом: «Смотри, какой гордый, умер и не попросил прощения».

День за днем шла жизнь, если это можно назвать жизнью, на ОЛП № 1. Тихий, незаметный, наголо остриженный, работавший на шахте инженер Б. О. пойман с поличным на краже хлебной пайки. Его страшно били, а он кричал: «Не убивайте меня, я голодный, я нужен стране здоровым». Полумертвого, его вытащили из барака ВОХРа. Больше его здесь не видели, куда-то перевели — тут его рано или поздно все равно прикончили бы.

Так же расправлялись и за сексотство. Если зека был замечен в связи с «кумом», он был обречен. На лесоповале на него падало дерево, или же он проваливался с тачкой в кювет, или еще что-нибудь случалось — но так, чтобы виноватых не оказывалось. Когда

выявлялся среди зека бывший прокурор или следователь, казнь над ним тоже совершалась неотвратимо.

Начальника Ухт-Ижемлага генерала Бурдакова я видела всего один раз, когда нас гнали на сельхозработы. Он верхом с кнутом в руке объезжал поля — настоящий плантатор. С ним связана забавная история.

Из нашего ОЛП бежал урка рецидивист по прозвищу Сашка-иностранец. Побег — редчайший случай, побег — ЧП. Как ему удалось убежать, неизвестно, но его не поймали. Попав на свободу, Сашка начал своеобразно мстить генералу. Каждый праздник, каждую знаменательную дату — и в женский день, и в день Парижской Коммуны, и в день рождения самого Бурдакова — из разных концов страны приходили пышные поздравительные телеграммы: «Дорогой генерал, все помню, горячо благодарю за все ваши благодеяния. Целую крепко Сашка-иностранец» или «Отмечая день моего рождения Сталинабаде, пили здоровье моего дорогого благодетеля. Сашка-иностранец», и т. д. Телеграммы поступали в экспедицию, их там читали, их содержание доходило до всех вольных и заключенных. Сашка своими издевательствами сделал из Бурдакова настоящее посмешище.

При мне было два побега. Бежал молодой украинец, учитель, скромный тихий человек Гриша. Он имел бытовую статью и пропуск за зону. Начальство и ВОХР знали Гришу как замечательного рыбака и часто брали его с собой на рыбалку. Никто не умел ловить, как он, водившуюся в реке Ухте царскую рыбу — хариуса. Однажды участники рыбалки по срочному делу отлучились в лагерь и оставили Гришу у реки одного, наказав ему продолжать лов и дожидаться их возвращения. Они ему доверяли — брали с собой на реку не первый год. А Гриша ушел, и настичь его не удалось, хотя все были подняты на ноги.

Третий побег был неудачным. Бежал мальчишка родом откуда-то из Средней Азии. Его вскоре поймали в болоте и привели к ОЛП. Рассказывали потом, что у ворот на разводе выстроили заключенных и у них на глазах овчарки растерзали беглеца. Убежать и выжить было практически невозможно. Но всегда оставалась возможность бегства из жизни. Галя Щербаченко, лет тридцати, геолог по профессии, была замкнутой, со всеми вежливой, очень опрятной и аккуратной. Когда ела, непременно расстилала салфеточку с бахромой. Однажды в лесу, это было на ОЛП Войвож, на сборе грибов и ягод для начальства вдруг потеряли Галю. Поднялась суматоха, ВОХРа устроила облаву. И в тлеющем костре нашли обгоревшие останки Гали. Кто-то по ее просьбе принес бутылку керосина с нефтеперегонного завода — якобы для растирания больной ноги...

Одни не выдерживали и уходили, другие сохраняли жизнелюбие. Личный секретарь Бориса Пильняка Наташа (не помню ее отчества и фамилии) и в бараке продолжала жить своим околотитературным прошлым, забавляла нас своим пристрастием к высокопарному слогу. В лагере она прославилась такой фразой: «Ах, опять эти агрокультурные экзерсисы!». Это — по поводу работы в поле.

...Жена какого-то вохровца пришла к нам 8-го марта и стала вслух читать о том, как счастлива советская женщина, как она раскрепощена, какую заботу проявляют о ней партия и правительство и как советская женщина благодарна за эту заботу о ней и ее детях. Не успела она дочитать про все это счастье, как одна из заключенных громко заплакала. В бараке началось что-то страшное — рыдания, истерики. Агитаторша выскочила как ошпаренная. Не на шутку перепуганные начальники с трудом установили тишину.

Так мы отпраздновали женский праздник.

В начале 44-го года группа заключенных чем-то отравилась. Возможно, несвежими оказались тресковые внутренности, из которых варили нашу баланду — так называемый «рыбкин суп». Боясь ответственности, нас срочно отправили в Сангородок. Это была большая больница, в которой, конечно, отдельно содержались вольные и заключенные больные. Однако врачи, медицинские сестры, нянечки, лаборанты и санитары были

заклученные. Только главврач Сангородка был вольный — доктор Эйзенбраун. Ко времени моего выздоровления я уже знала многих врачей и сестер. И даже была приглашена в кабинет доктора Николая Николаевича Красовского на празднование «нелегальной свадьбы» его с медсестрой Лорой Соловьевой.

Доктор Красовский пользовался многими привилегиями, чувствовал себя более уверенным, чем другие врачи, так как, будучи гинекологом, оказывал вольным женщинам многие услуги. Это приносило ему и материальную выгоду. На тайную свою свадьбу он пригласил несколько человек и смог их даже неплохо угостить. Был разведенный больничный спирт, очень мало хлеба и американская жирная свиная тушенка. Спирт я не пила, но от аппетитной тушенки после долгих лет недоедания отказаться было невозможно. Печень с таким угощением не справилась, и я заболела жестокой желтухой — пожелтела, позеленела. Больные, встречая меня в коридоре больницы, отводили глаза. Лекарств и диетического питания, конечно, не было. Спас меня отец, который, узнав случайно о моей болезни, прислал нужные лекарства.

Болезнь стала отступать, но я была так слаба, что о работе на заводе не могло быть речи. Меня оставили при больнице, в лаборатории.

Персонал лаборатории состоял из трех человек: заведующая Юлия Николаевна Соколова, мойщица посуды, она же уборщица, и я. Кроме нас, были животные, необходимые для анализа крови на реакцию Вассермана: морские свинки, кролик Джон, совершенно черный, и крольчиха Бэлла, белая как снег. Я довольно быстро научилась делать простые анализы крови, мочи, мокроты.

А жила я в зоне. Моей ближайшей соседкой по нарам оказалась польская коммунистка Герта Бергер. Ее сестра Труда, тоже член польской компартии, была замужем за известным в Польше коммунистом Павлом Финдером, секретарем подпольного ЦК во время гитлеровской оккупации. Немцы зверски убили его, и сейчас Павел Финдер — национальный герой Польши. Сама же Труда до самого освобождения ее страны оставалась в фашистском лагере. А ее сестра Герта — в советском. Герта с мужем эмигрировала при Пилсудском в СССР, оба стали работать в Коминтерне, жили, как и многие иностранцы, в гостинице «Люкс» на Тверской. Когда начались массовые аресты зарубежных коммунистов, многие из них кончали самоубийством, выбрасывались из окон. Какое-то время гостиница «Люкс» была даже оцеплена милицией. Муж Герты не избежал общей участи — его арестовали и расстреляли. А Герту взяли на седьмом месяце беременности, и в Бутырке она родила мальчика — Юлиана, Юлика. Со слабеньким крохой ее, еле передвигавшую ноги, отправили в этап. Молока у нее не было вовсе, она цедила баланду через чулок и кормила ею младенца. Чудо: Юлик выжил, и в Ухте был определен в ясли для детей заключенных. Даже младенцев не позволялось смешивать. Маленький Юлик рос, к тому времени, когда я его узнала, ему было уже около шести лет. В детском саду для детей заключенных не было ни книжек, ни игрушек. Юлик и не ведал, что они существуют, как и другие лагерные дети, он собирал камушки, стеклышки и играл ими.

Когда мойщицу из нашей лаборатории куда-то забрали, я постаралась определить на ее место Герту, чтобы она была под моей опекой. Юлик иногда мог забежать к нам в лабораторию из детского сада, расположенного неподалеку от больницы. Наши морские свинки и кролики доставляли ему большую радость. В своем возрасте, возрасте словотворчества, он часто давал предметам удивительно точные названия: пробирки называл продырками, выключатель — выкручателем. В самом деле, чтобы выключить или включить свет, нужно повернуть выключатель, «выкрутить» его...

Когда наши войска подошли к Варшаве, поляков увезли из лагерей. Забрали и Герту с Юликом. Папа мне потом рассказывал, что Герта пришла навестить его и детей в Москве и много рассказывала обо мне. Она была прилично одета, поместили их в гостинице и хорошо кормили, им один раз даже дали яичницу с ветчиной, Юлик растерялся — не знал, что это такое.

Когда наши вошли в Польшу, поляков, выживших в лагерях, отправили по местам их жительства. Положение в Польше было еще неопределенным, всякое могло быть, и в этой ситуации немного находилось охотников занять ответственные хозяйственные, советские и партийные должности. А люди, прошедшие немецкие и наши лагеря, шли на это. После пройденной «школы» они ничего, видно, уже не боялись, и нечего было им терять.

После отъезда Герты меня, уже достаточно окрепшую, забрали по наряду из Сан-городка в Ухту в Центральную лабораторию Ухт-Ижемлага. В последний год войны, когда одна победа наших войск следовала за другой, режим в лагере несколько смягчился, и я, всего-навсего СОЭ — социально-опасный элемент, получила возможность свободного выхода без конвоя. Рядом с лабораторией стоял сарай с окном и печкой-буржуйкой, которую в холодное время нужно было непрерывно топить. Там стояли две железные койки (все-таки не нары!), сколоченный из струганных досок стол и лавка. Туда поместили меня с художницей Надеждой Константиновной Андреевой.

Надежда Константиновна держалась со мной несколько покровительственно. В Москве она была сотрудницей академика К. И. Скрябина — выдающегося гельминтолога. У нее была редкая специальность — художник-микроскопист. На страницах альбомов, составленных академиком, она изображала паразитов в красках, и эти альбомы придавали ученым трудам особую ценность. По рассказам Андреевой, академик был безумно влюблен в нее, умолял о взаимности. Правда ли это, или относится к рассказам «на воле я была высокая блондинка», столь распространенным в тюрьмах и в лагерях, — не знаю.

В ЦЛ вместе работали вольные и заключенные. Мы не чувствовали, что они белые, а мы черные. И все же... Начальником лаборатории был, понятно, вольный — азербайджанец Рустам Векилов, молодой геолог, весьма демократичный человек. Остальные ведущие сотрудники — сплошь зеки, а подсобные — вольные. Моей лаборанткой была Мария Адамовна Яновская. Однажды она спросила, не хочу ли я вечерами помогать ей по хозяйству и, если я согласна, то на каких условиях. Я согласилась работать у нее за хлеб и мыло — убирать, стирать белье, чистить кроличьи клетки. И получалось, что днем Мария Адамовна послушно выполняла работу, которую я ей поручала, а вечером я служила у нее работницей. Причудливые переплетения лагерных отношений.

Лаборатория была расположена на холме, а внизу — сельскохозяйственные угодья. При них в сторожке жил старик, дедушка Тимофей. Мы навещали его, а он заходил к нам погреться, попить чайку и поговорить с добрыми людьми. Он рассказал нам свою историю.

Работал он обходчиком на железной дороге на малом полустанке на Дону. Как-то вызывают его на ближайшую станцию в желдоротдел НКВД. Спрашивают, знает ли он такого-то служащего — называют имя.

— Знаю его, — отвечает Тимофей.

— Бываешь у него?

— Бываю изредка.

— Выпиваете?

— Как же. Выпиваем. Без этого нельзя. «Ну и забрали меня, и дали десятку», — спокойно повествует дед. А на другом полустанке работал его знакомый обходчик Прохор. Встречает его Тимофей в тюрьме в общей камере.

— Ты здесь за что? — спрашивает дед. И Прохор рассказывает: вызывают его в желдоротдел НКВД.

Ты такого-то знаешь? — и называют ту же фамилию, что и деду Тимофею.

— Не знаю я такого, — отвечает Прохор.

— И не бывал у него, и не выпивал с ним? — спрашивают.

— Как же бывать и выпивать, коли я его не знаю?

И Прохору дали десять лет. Все это дед рассказывал спокойно, просто, как само собой разумеющееся, естественное дело. И ведь верно. Строится железная дорога Котлас — Воркута, проходчики нужны, а кто добровольно поедет работать к полярному краю, да еще за гроши? Так решилась проблема: и люди нашлись, и платить им не надо — будут работать за пайку.

В ЦЛ меня разыскал профессор Лев Соломонович Полак, с которым я раньше работала на нефтеперегонном. Вместе с другим ленинградским профессором Всеволодом Константиновичем Фредериксом он предложил администрации создать научную группу для работы по оборонной тематике. Начальство Ухт-Ижемлага утвердило и группу, и темы: ускорение бурения с помощью поверхностно-активных веществ; ультразвуковой крекинг ухтинской нефти с целью получения высокого выхода легких нефтепродуктов. И мы начали работать.

Всеволод Константинович, как и Полак, был «террористом» со сроком 10 лет, хотя он никогда не держал в руках даже игрушечного оружия. Причислен он был к террористам потому, что был племянником гофмейстера двора его величества государя Николая II графа Фредерикса. Немолодой человек лет шестидесяти, красивый, высокий, седой, с очень ясными голубыми глазами, было в нем что-то по-детски чистое.

Всеволод Константинович был женат на сестре Шостаковича Марии Дмитриевне. У них был четырнадцатилетний сын. Всеволод Константинович получал посылки от Дмитрия Дмитриевича. В одном из писем профессор, рассказывая о своей работе, упомянул мое имя. В следующей же посылке оказалась плитка шоколада с надписью «для Е. Г.» и подпись Шостаковича. Как я жалею, что не сохранила ни одной обертки с автографом великого композитора. Но до того ли было?

Работа по первой предложенной Полаком и Фредериксом теме, основанной на исследованиях П. А. Ребиндера, не дала ожидаемых результатов. Зато вторая тема принесла удачу. При ультразвуковом крекинге количество легких погонов по сравнению с обычным крекингом значительно возросло. Эти результаты были отправлены техническим отделом лагеря в Москву с представлением о досрочном освобождении участников научной разработки метода. Участниками были мы трое: два террориста и я — социально-опасная.

Ответа не было. Мой срок кончался в ноябре 46-го года, а мои коллеги, имевшие по десять лет, должны были освободиться позднее. Москва молчит, а мы продолжаем работать. И ждем досрочного освобождения или, как все, амнистии в связи с Победой. Ждем, хотя и знаем, что все бывает иначе: вызывают и дают расписаться в получении нового срока. Нервные срывы, самоубийства, сумасшествия — на фоне общенародного ликования. Страшная война завершилась, страшное для нас не закончилось.

Мы и ждать перестали, когда в августе сорок шестого пришли документы на досрочное освобождение работавшей на оборону группы. Это было за три месяца до формального окончания моего срока. Неожиданность была для меня особым благом: самые тяжелые дни и месяцы тюрьмы и лагеря — первые после ареста и последние — перед освобождением. Наступает страх перед выходом на волю, встречей с близкими, огромное нервное напряжение, пытка ожиданием. И чем больше срок, тем острее протекает эта лихорадка. А восемь лет неволи, разлуки с детьми — это огромный срок... Ничего не помню, что происходило после того, как начальник ЦЛ Векилов вызвал меня в свой кабинет и объявил об освобождении. Векилов предупредил меня: я должна назвать пункт своего местожительства, причем столицы республик и областей, пограничные районы, морские порты исключаются.

Я не хотела оставаться в Ухте. Не хо поселить детей в этих гиблых местах, в местах заключения с особыми порядком и правами. И как и куда потом отсюда выбираться? Детям ведь учиться нужно. Нужно уезжать. Это решение было окончательным.

О том, что было, трудно писать. И, наверное, эти заметки не появились бы вовсе, если бы не мой друг, физик Мира Мстиславовна Яковенко. Она скрупулезно фиксировала мои воспоминания, и это познати, мне написать книгу о пережитом.



Уже не лагерь, но еще и не воля. 1946 г.

Е. Ж.